



Алексеев Андрей Николаевич (рожд. 1934 г.) – советский/российский социолог, кандидат философских наук, автор большого числа исследований и публикаций по социологии средств массовой информации, культуры, производства, образа жизни, по методологии и методике социологических исследований.

А.Н. Алексеевым опубликовано множество научных работ, важнейшие из которых указаны здесь: Алексеев А.Н. Ожидали ли перемен? (Из материалов экспертного опроса рубежа 70-80-х годов. В 2-х кн. М., 1991; Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т. I и II. СПб, 2003, Т. III и IV.

СПб, 2003; Алексеев А.Н., Ленчовский Р.И. Профессия – социолог. Документы, наблюдения, рефлексии. В 4-х томах. СПб, 2010.

СКАЛА АЛЕКСЕЕВА⁴

Человек залезает на конкретную скалу вовсе не затем, чтобы все за ним лезли. Каждый пусть лезет на свою скалу, а кто-то, глядишь, заберется и на Эверест⁵.

В настоящей статье анализируются некоторые аспекты работы, осуществленной Андреем Николаевичем Алексеевым в последние три десятилетия. Ничего юбилейно-праздничного в этом тексте нет, тем более что в значительной мере он был написан более года назад и лишь в силу не зависящих от меня обстоятельств не был своевременно опубликован. Статья продолжает серию моих работ методологического и историко-научоведческого плана, цель которых, в частнос-

⁴ Докторов Б.З. Скала Алексеева // Социологической журнал. 2009. №3. С. 136–158.

⁵ Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т. 1. СПб.: Норма, 2003. С. 193.

ти, — найти исследовательский метод, позволяющий анализировать и описывать ближнее прошлое отечественной социологии, отталкиваясь или в значительной степени опираясь на биографии ученых, создававших и создающих эту область знания.

Написать историю науки, ничего не сказав о ее создателях — лидерах и научных коллективах — невозможно, но часто все они представлены как тени, силуэты, профили, вырезанные из черной бумаги и наклеенные на белый фон. С той поры как подобная технология передачи лиц — без глаз и эмоций — родилась, а потом достигла высочайшего уровня, возникло искусство фотографии и кино, позволяющее передать и внешность человека, и в лучших случаях — его личность, характер. Вот и создание истории с «человеческим лицом» представляется мне попыткой уйти от истории, в которой «действовали бы» силуэты, к прошлому, наполненному реальными людьми.

В создаваемой мною типологии поколений советских/российских социологов есть «странная» вторая профессиональная когорта, единственная, которая осознанно не вписана в лестницу с равными 12-летней толщины ступенями. Так, первое поколение — это родившиеся в промежутке с 1923 до 1934 года, третье — в интервале 1935–1946 годов и так далее (см. табл.).

Не претендуя на то, чтобы упомянуть всех представителей первого поколения (хотя их было немного, возможно, не более полусотни), назову имена тех, кто большинством нашего сообщества признается лидерами. Это, к примеру: Г.М. Андреева, И.В. Бестужев-Лада, Л.А. Гордон, Б.А. Грушин, Л.Н. Коган, И.С. Кон, С.А. Кугель, Ю.А. Замошкин, А.Г. Здравомыслов, Т.И. Заславская, Н.И. Лапин, Ю.А. Левада, Г.В. Осипов, Р.В. Рывкина, А.Г. Харчев, О.И. Шкара-тан, В.Э. Шляпентох, В.Н. Шубкин, В.А. Ядов. В 2008 году отмечалось 50-летие современной российской социологии, и тем из пионеров отечественной социологии, кто дожил до наших дней, сейчас 80 лет или несколькими годами больше.

Анализ показывает, что представители первого поколения советской социологии родились в промежутке от 1923 до 1934 года. Годы рождения значительной части ученых, чьи имена указаны выше, приходятся на конец 1920-х. Таким образом, на момент *второго* рождения советской социологии они были молодыми кандидатами, лишь единицы — докторами, наук, и их взгляды на общество формировались под влиянием подвигов героев революции и Гражданской войны, событий Великой Отечественной, обрывочных сведений

о борьбе с «врагами народа», смерти Сталина и разоблачением культа личности.

«Странность» второго поколения заключается в том, что его представители по возрасту в среднем ненамного моложе образующих первую возрастную когорту. «Вторые» формировались как личности практически в том же социальном пространстве, что и «первые», но в силу личных жизненных обстоятельств «вторые» пришли в социологию несколько позже «самых первых».

Таблица

Схема поколений советских/российских социологов

Поколение	Годы рождения	Центральные годы
первое	1923–1934	1928–1929
второе	2-я половина 1920-х – 1934 г.	
третье	1935–1946	1940–1941
четвертое	1947–1958	1952–1953
пятое	1959–1970	1964–1965
шестое	1971–1982	1976–1977
седьмое	1983–1994	1988–1989

Пока трудно сказать, чем в своем творчестве и мироощущении второе поколение отлично от первого, об этом можно будет говорить лишь по итогам специальных историко-научно-исследовательских исследований, тем более, что многие из «старейшин» нашего цеха продолжают активно работать. «Первые», так уж сложились их судьбы, входили в социологию азартно. «Вторые» — более трезво, взвешенно, в некотором смысле им приходилось *отказываться* от ранее избранного профессионального пути и многое пересматривать в своих политико-нравственных воззрениях. Не имея возможности для аргументирования этого допущения, скажу, что оно вытекает из проведенных мною интервью с представителями этой общности, из анализа «Драматической социологии» Алексеева [1], книги Фирсова о разномыслии [2] и незавершенных мемуаров Соколова [3].

Существует еще одна особенность алексеевской картины мира, задающая специфику его положения в нашем профессиональном сообществе (последнее отражено в приведенных выше словах Т.И. Заславской, В.Э. Шляпентоха и Б.М. Фирсова). Помимо нетривиального общетеоретического и методо-

лого-методического содержания, его работы привлекают внимание своей гражданственностью, более точно — поисками роли социолога в обществе. Причем он ничего не декларирует, не предписывает, не морализирует. Он действует проще, но много рискованнее и одновременно — ответственнее. Алексеев избегает использования термина «эксперимент на себе», считая, что это звучит слишком красиво, но именно этот термин передает достаточно точно его исследовательский метод. И.С. Кон в недавнем письме Алексееву (автор письма прислал мне копию) весьма справедливо заметил: «...люди предпочитают анализировать не свои, а чужие страдания, так что подражать Вам мало кто захочет» [4].

Алексеев все проецирует на себя. Он рассуждает и действует так, как ему представляется должным, как может разрешить себе лишь свободная — не от общества, но от страхов — личность. Он не просто расширяет методолого-инструментальный арсенал социологии новыми подходами и приемами, но дополняет его нравственными принципами; но не в виде перечня должного и запретного, а через формирование предмета собственных исследований. Принципиально то, что Алексеев никого не призывает следовать за ним, понимая, что каждый сам выбирает маршрут своей жизни. Еще в далеком 1980 году он писал в письме социологу Инне Рывкиной о том, что, своим переходом из социологов в рабочие (см. ниже) никакого вызова социальным институтам он не делал, что лучший ныряльщик это тот, который входит в воду без брызг [1, с. 193].

Известный специалист в области истории и философии физики Б.Г. Кузнецов во введении к своей небольшой автобиографической книге — коллекции эссе о встречах с людьми, оставившими неизгладимый след в его памяти, отмечал, что исследователя прошлого науки и творчества ученых, возможно, более уместно называть «биолог», нежели «биограф» [5]. «Графия» указывает на описание жизни, тогда как не используемый в наше время в его исходном смысле линнеевский термин «биолог» соединяет «Биос» и «Логос» и указывает на *постижение, познание жизни в ее единстве с окружающим миром*. В этом смысле предлагаемые заметки можно рассматривать как *био-логические*.

Уникальность жизненного пути Алексеева заключается в том, что осуществленное им в 1980–1988 годах исследование просто невозможно отсечь от его биографии, и, наоборот, многие важнейшие события его жизни стали предметом его собственного социологического анализа и содержанием опубликованной им тетралогии «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия» [1]. Это и объясняет, почему

мой рассказ об этой книге становится в значительной степени и биографическим повествованием.

Первые два тома работы Алексеева увидели свет в 2003 году, два следующих — двумя годами позже. Небольшой тираж четырехтомника (400 экземпляров) делает круг людей, имеющих его на своих полках, крайне узким. Тем не менее, его потенциальная читательская аудитория огромна: все четыре тома этого труда выложены в Интернете.

Таким образом, главная цель моих заметок — представить работу Алексеева тем, кто о ней ничего не знает, но в любой момент может для начала заглянуть в нее, а там — как сложится. Чтение объемного труда, да еще в сетевом варианте, дело непростое. Но мне кажется, что равнодушных к этим материалам будет немного, а вот восприятие и отношение к ним будет различным. В значительной степени оно будет определяться способностью читателя погрузиться в тот мир социальной драмы, который автор постепенно открывал для себя и в который оставил открытыми дверь для других. Но пройтись по дорогам этого мира каждому предстоит собственным путем, идти след в след за автором невозможно.

Особенность «Драматической социологии» заключается в *многоплановости*. Она в той же мере повествует о человеке в системе социальных отношений, что и о жизнедеятельности ее автора. Сама социальная реальность и исследовательский опыт позволили автору сформировать адекватную методологию и инструментарий исследования. Четырехтомник (далее я буду называть его книгой) — это «кинолента» о событиях, протекавших в Ленинграде во времена «заката застоя» и «разбега перестройки», и о людях, сначала просто ожидавших перемен, а затем начавших формировать новую демократическую среду. Книга рассказывает об авторе и одновременно дает представление об огромной коммуникационной сети, в которой живет социально активная личность; о размерах подобной сети и ее строении мы мало задумываемся, а между тем действующих лиц в ней свыше полутысячи. По отношению к автору многие из них выступают в качестве *со-беседников, со-авторов и со-трудников*. Это придает изложению объемность, полифоничность и дискуссионность.

В начале 1980-х годов ряд обстоятельств личного и общественного характера привели Алексеева, в прошлом журналиста, сложившегося социолога, кандидата наук, сотрудника академического социологического института, на один из крупных ленинградских заводов. Это был не вынужденный акт, но собственная инициатива. Став наладчиком и оператором координатно-револьверного пресса, сложного станка, поз-

волявшего производить на листовых деталях высокоточные дыропробивные работы, он в течение восьми с половиной лет наблюдал различные формы взаимоотношений в производственном процессе и общественной жизни на заводе. Многие из увиденного-прочувствованного-осознанного стало ядром его повествования.

Поначалу наблюдаемая Алексеевым социальная реальность включала собственно производственные процессы и межличностные коллизии внутрицехового и общезаводского масштаба. Анализируя происходившее вблизи, социологу-рабочему удалось «подсмотреть» многообразие таких форм поведения рабочих, которые противоречили стереотипным представлениям о «социалистическом отношении к труду». Разрешенное и отчасти даже поощряемое руководством нарушение трудового законодательства, пьянки «с умом» на рабочем месте, «халтуру» по-рабочему, то есть не плохую работу, а, наоборот, сделанную при минимуме трудозатрат и выгодную себе и производству, «партизанщину» — самовольное нарушение технологии, искусственное сдерживание роста производительности труда и многое другое. Своего рода интегральным свойством низшего и среднего руководящего звена было, по Алексеву, «разгильдяйство» (незаинтересованность + некомпетентность + безответственность [1, т. 1, с. 124], возрастающее по мере восхождения на высшие уровни руководства. Разгильдяйство было итогом и следствием безответственности низов и беспомощности верхов [1, т. 1, с. 183–184].

В.А. Ядов, обобщая наблюдения Алексева, говорит о выявлении и точном представлении им для социологической науки механизмов «двойного нормативного стандарта». Пока между мастером и рабочим сохранялись партнерские отношения, первый лишь фиксировал нарушения трудовой дисциплины вторым, но при возникновении конфликта доседе раскрывалось, что могло приводить к увольнению рабочего [1, т. 4, с. 14]. Примечательно, что другой эксперт, свыше десяти лет занимавшийся проблемами заводской социологии и в годы эксперимента Алексева работавший с ним на одном заводе, но в качестве «социолога-управленца», Б.И. Максимов, по его собственному свидетельству, поначалу убеждал Алексева не «идти в рабочие», ибо ничего нового тот не увидит, выражал готовность, «не сходя с места», рассказать об уловках рабочих, фиктивности соцсоревнования и т. п. И все же переоткрытие всех этих феноменов Алексеевым произвело эффект разорвавшейся бомбы [1, т. 4, с. 37].

Действительно, к началу 1980-х многое из описанного Алексеевым прекрасно знали «работяги», не было это тай-

ной и для большинства заводских социологов, исследовавших трудовые отношения. Однако «лукавая» отраслевая и общегосударственная статистика многое намеренно маскировала, а массовые опросы не могли зафиксировать ряд тонких, тщательно оберегавшихся от внешнего наблюдателя сторон жизнедеятельности производственных коллективов. К тому же было заранее ясно, что широкое обсуждение негативных аспектов организации труда рабочих — «ведущей силы» советского общества — грозит исследователям массой неприятностей. В полной мере их испытал на себе Алексеев, вскоре убедившийся в том, что и его деятельность, и результаты его наблюдений были объектом пристального внимания администрации и партийной организации завода, а также «компетентных органов».

Поначалу то, что делалось Алексеевым, можно было отнести к социологии труда, но через пару лет предмет его исследований заметно расширился, хотя он не стремился к подобному разрастанию своего проекта. Как говорится, в один прекрасный день на его квартире был произведен обыск в связи с уголовным делом, к которому он не имел никакого отношения. Милиция вскоре признала «ошибку», но все его дневники, письма, материалы наблюдений были не возвращены владельцу, а переданы в органы госбезопасности. Начались его встречи с сотрудниками КГБ и их беседы с его друзьями и знакомыми, у которых искали подтверждения его антигосударственной деятельности. Через три месяца часть отобранного вернули, но отказали в возврате нескольких научных сборников с грифом «Для служебного пользования» и около 800 страниц рабочих материалов (дневников, писем). Вслед за обыском «случайно» произошел взлом квартиры, был устроен беспорядок, но ничего из того, что обычно представляет интерес для воров, не пропало. На заявление потерпевших был ответ: все совершено тринадцатилетним хулиганом, слишком юным для предъявления ему обвинения.

Жизнь и далее активно «помогала» Алексееву, давая ему такие бесконечные возможности для наблюдений и обобщений, о которых он и мечтать не мог, не то что планировать. По представлению КГБ завод начал процедуру его исключения из КПСС, в которой он к тому времени состоял почти четверть века. Причины: «цинизм, пренебрежительное отношение к советской науке, рабочему классу, элементы антисоветизма» [1, т. 1, с. 278]; «проведение социологических исследований политически вредного характера, написание и распространение клеветнических материалов (так!) на советскую действительность и грубые нарушения порядка работы с документами

для служебного пользования» [1, т. 2, с. 333]. Естественно, «вредителя», «саботажника» и «шпиона» исключили. Помнящие те времена понимают, что на исключении из партии процесс не мог остановиться. Свои ряды от него «очистил» Союз журналистов, членом которого Алексеев был свыше двух десятилетий, и два других профессиональных объединения — Советская социологическая ассоциация и Всероссийское театральное общество.

Так исследование, исходно сфокусированное на анализе маленькой клеточки социального организма (первичный трудовой коллектив), постепенно включило наблюдение за крупными *системными* образованиями и поднялось до уровня изучения человека в системе «социалистических общественных отношений».

Значимость сделанного Алексеевым состоит не только в том, *что именно* ему удалось увидеть в ходе эксперимента, но и в том, *каким образом* автору удалось заглянуть в ту часть социальной реальности, которая плотно занавешивалась от общества идеологическими, властными институтами. Речь идет о *системе* исследовательских *действий* — о технологии сбора эмпирической информации.

Краеугольным положением методологии Алексева, позволившим ему обнаружить и описать недоступное другим социологам, стала введенная им разновидность давно известного в социологии метода — наблюдения. Традиционно выделяют включенное, или участвующее, наблюдение, в котором социолог старается занять объективистскую позицию и минимизировать свое влияние на наблюдаемые им процессы. Новинка Алексева — *наблюдающее участие*, предполагающее изучение «социальных ситуаций через целенаправленную активность субъекта, делающего собственное поведение своеобразным инструментом и контролируемым фактором исследования» [1, т. 1, с. 13]. В этом случае наблюдатель стремится быть не пассивным, но активным участником происходящего и познаваемого, разрешая себе *изнутри* вносить в наблюдаемый им процесс некие, определяемые им самим «возмущения». Тогда в конкретном явлении или процессе раскрываются, проступают те стороны, свойства, которые присутствовали в них, но сами бы не заявили о себе. Так частное, по Алексеву, заурядное [1, т. 1, с. 179], становится *моделью* общего.

Эта «процедурная» добавка, точнее, социологическое действие, превращает участвующее *наблюдение* в *наблюдающее участие* и принципиально меняет логику исследования: на смену наблюдению с целью познания приходит познание

через действие (или познание действием). Действуя, социолог выступает не просто участником, актором наблюдаемого действия, но в значительной степени драматургом и постановщиком «социологической драмы» [1, т. 1, с. 14]. Отсюда и возникает термин, которым Алексеев характеризует свой подход — *драматическая социология*. Когда же он распространил принципы наблюдающего участия на самого себя, возникла *социологическая саморефлексия*, или *ауторефлексия*.

Сегодня, через два десятилетия, прошедших после завершения этого проекта Алексеева, можно предложить и несколько иную интерпретацию природы его метода и результатов его социально-научного эксперимента. Погрузившись в мир производственных и жизненных обстоятельств, окружавших его, он осознанно вышел за рамки традиционного для 1980-х годов видения советской социологией механизмов функционирования трудовых коллективов, особенностей образа жизни некоторых групп населения и деятельности ряда властных институтов. Таким образом, его социология сразу стала *драматической*. В новом для того времени семантическом пространстве переставали действовать наработанные советскими социологами приемы анализа социальной информации и возникла потребность в выработке каких-то новых способов прочтения и описания наблюдаемого, а также в понимании своего места в этом мире отношений. Так появилась потребность в *ауторефлексии*.

«Драматическая социология и социологическая ауторефлексия» — это не только итоги анализа рабочим-социологом многих сторон жизни производственного коллектива и других аспектов социальных отношений, характерных для завершающего периода советского общества; не только схема и убедительный пример целой системы мягких методов для изучения драматических ситуаций или конфликтов. Это одновременно и полезная *книга по истории советской социологии*. Аргументирую кратко последнее утверждение.

Прежде всего, книга содержит описание и анализ многих значимых событий, протекавших в ряде исследовательских команд ленинградской социологии, в Институте социально-экономических проблем АН СССР и Ленинградском отделении Советской социологической ассоциации. Ленинград является одним из центров зарождения постхрущевской советской социологии, городом, в котором сложилась особая социологическая культура, и поэтому документы и личные наблюдения Алексеева, свидетеля и участника многого, что происходило в 1970–1980-е годы в этом социологическом сообществе, — ценнейший материал для будущих историков. Подчеркну, со-

держание многих сюжетов, приведенных им, уникально, без них история отечественной социологии явно будет неполна. Прежде всего, назову тему «интереса» КГБ к работе социологов, эта тема обсуждалась мною в интервью с В.А. Ядовым, А.Г. Здравомысловым и другими учеными, но многое в ней еще предстоит осветить будущим историкам. Также отмечу зафиксированные в книге факты неуникальности перехода Алексева из научного института в заводской цех. В Ленинграде в рабочие пошли еще два социолога: Юрий Щеголев и ныне покойный Сергей Розетт, а также переехавший из Ленинграда в Вильнюс Анри Кетегат. Главный мотив — «сохранение через перемену»: если не можешь примениться к обстоятельствам — измени обстоятельства [1, т. 1, с. 78–79].

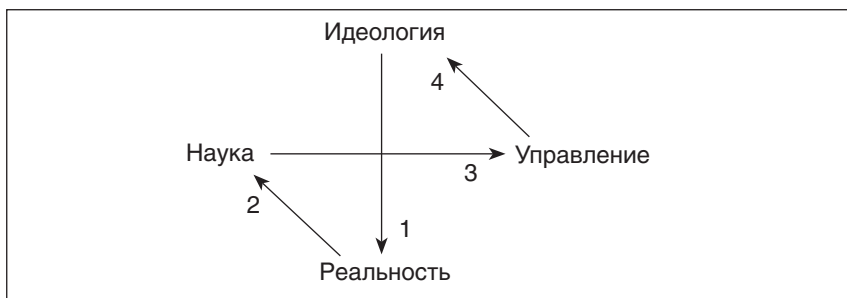
Интерес для историков науки представляет уже сам список действующих лиц «Драматической социологии», который может стать базой для вычерчивания коммуникационных графов, характеризующих сеть общения значительного числа социологов, и не только ленинградских. Назову имена лишь некоторых из них: Ю. Вооглайд, Т. Дридзе, В. Дудченко, Л. Кесельман, М. Лауристин, Б. Максимов, А. Назимова, В. Паниотто, С. Рапопорт, Р. Рывкина, Г. Саганенко, Э. Соколов, А. Тихонов, Б. Фирсов, В. Хмелько, В. Шляпентох, В. Шубкин, В. Ядов, А. Ющенко.

Ценным для будущих историко-биографических исследований является *образ самого автора* драматической социологии. Направленное чтение книги дает редчайший познавательный материал: детальное описание профессиональной и публичной жизни социолога.

И завершу этот параграф трактовкой Алексеевым «судеб советской социологии». Мне представляется, что это *одна из первых попыток* выделить в отечественной социологии основные этапы ее развития. Изначально материал не предназначался для публикации, это — фрагмент его личного письма Тамаре Моисеевне Дридзе (1930–2000), пришедшей в социологию в середине 1960-х и хорошо знавшей, как все происходило. Отмечу также, что рассматриваемая ниже модель развития советской социологии была изложена Алексеевым более 25 лет назад (в мае 1981 г.) и потому предлагаемая им периодизация охватывает лишь первую четверть века постхрущевской российской социологии [1, т. 1, с. 219–226].

Движение социологии как науки рассматривается Алексеевым в двумерной системе координат, задаваемой четырьмя полюсами (направлениями); вертикальная ось «Идеология — Реальность», горизонтальная — «Наука — Управление» (см. рис.).

Пространство развития российской социологии:
середина 1950-х — начало 1980-х



До середины 1950-х, пишет автор, «социология благополучно размещалась в “лоне” Идеологии и даже имени своего не имела (“буржуазная социология” не в счет!)». Она родилась в конце 1950-х и стала двигаться «вниз», в область Реальности. После столкновения с реальными социальными процессами она направилась к полюсу Наука, в 1960-е годы происходило освоение методологии, методики и техники социологии. В следующем десятилетии обозначилось движение «вправо», ориентация на Управление; возникла заводская социология, работы по хозяйственным договорам, стремление формулировать управленческие рекомендации в различных сферах жизни общества. И здесь желание социологов «поручить» встретило сопротивление со стороны власти, и социология вынуждена была двинуться обратно по направлению к Идеологии.

По характеру движения социологии Алексеев выделил четыре этапа: первый — «секуляризация», второй — сайентификация, третий — прагматизация, последний — идеологизация (точнее, реидеологизация). Четвертый этап тогда лишь начинался. Эти же этапы автор переформулировал в терминах функциональных приоритетов науки: гражданственный, исследовательский, управленческий и идеологический. Общий вывод из анализа 4-этапного процесса таков: сейчас «кто-то ближе к Науке, чем к Управлению. Кто-то к Управлению ближе, чем к Идеологии. И только к Реальности уже никто не ближе, чем к чему-либо другому» [1, т. 1, с. 221].

Далее, развивая одну из генеральных линий своего исследовательского проекта, Алексеев говорит об ожиданиях перемен. Ровно за четыре года до прихода к власти Михаила Горбачева он, понимая необходимость «нового прорыва к реальности», предполагал, что это может произойти в 1980-х годах под

давлением хода общественной жизни, добавляя при этом: «Правда, ей (социологии — Б.Д.) для этого придется как бы “отказаться от самой себя”» [1, т. 1, с. 222].

Обнаружив, что в целом прогноз Алексеева (особенно по части «отказа от себя») оправдался, я заинтересовался, какие периоды он сегодня выделил бы в последних двух десятилетиях развития российской социологии. Он сделал это, не меняя конфигурации предложенного им классификационного пространства. Приведу его ответ полностью: «Насчет периодизации российской социологии. Для советской — цикл в свое время завершился от “секуляризации” до “реидеологизации”. Для последующей “жизни” нашей социологии был относительно недолгий период нового погружения в реальность, *публичная социология* (в смысле М. Буравого), далее — активное *освоение мирового опыта*, в значительной своей части эпигонское (тоже своего рода сайентификация) и — не последовательно, а, пожалуй, параллельно (в разных общественных секторах) — интенсивная *прагматизация*, с изрядной дозой очковтирательства. А в последнее время — опять *реидеологизация*, не менее крутая, чем на “закате застоя”. Тут уж — “православие, самодержавие и народность”, Союз социологов России, В.И. Добреньков — В.И. Жуков — Г.В. Осипов» [6]. Действительно, получается своего рода спиралевидное движение».

Особый разговор должен быть о *жанре* книги, ибо подача материалов в ней далека от академических канонов и потому может породить представление о том, что книга должна идти не по «департаменту» социологической науки, а номинироваться «по разряду» литературных или журналистских произведений. Мне подобная точка зрения представляется ошибочной. Во-первых, просто не хочется выпускать эту работу из круга социологических исследований, какой она в первую очередь и является. Во-вторых, признание этой точки зрения фактически означало бы, что феноменология проекта Алексеева определяется не всей совокупностью действий, осуществленных им, но лишь избранной автором формой изложения полученных результатов.

Алексеев выделяет две составляющие жанра: *исследовательский* и *литературный*. О первой компоненте было кратко сказано выше; вопрос о «жанре литературном» Алексеев в значительной степени сводит к **особой драматургической роли композиции использованных им документов. По его мнению, документы:** личные и публичные, житейские и деловые, научные, даже справки или обращения в официальные органы, будучи поставленными в определенный контекст, об-

ретают смысл *социологического свидетельства*, а сама *композиция* становится способом первичной концептуализации, анализа и осмысления [7, с. 11–12].

На мой взгляд, форма изложения содержания обсуждаемой книги является производной объективных обстоятельств, детерминировавших логику и технологию исследования Алексева; отмечу три из них. 1) Специфика предмета и объекта изучения *требовали* использования мягких, качественных методов социологии. 2) Базовый методологический принцип исследования — не просто фиксация наблюдаемого, но *обязательная рефлексия* по поводу происходящего и *ауторефлексия*. 3) Стихийно, но верно была избрана первичная форма самоотчета о «приключениях социолога-наладчика». Немного разверну сказанное.

Каждый, кто поставит себя на место социолога, не просто наблюдающего процессы, происходящие в трудовом коллективе в связи с необходимостью решения комплекса производственных проблем, но работающего «по-правдошному», придет к заключению, что оптимальным приемом фиксации увиденного будет ежедневное ведение подробного дневника событий. Последовавшие вскоре после начала эксперимента события в жизни Алексева и его контакты с представителями различных формальных и неформальных образований внутри завода и за его пределами стали источником огромного числа документов, производимых и этими образованиями, и самим «наблюдателем». Следовательно, каким бы ни было (в будущем) решение о форме изложения итогов наблюдений, безусловно, оно предусматривало бы обращение к дневниковым записям и собранным документам. Более того, стремление к соблюдению норм оформления материалов научного эксперимента обязывало бы автора по возможности к полному воспроизведению документов и максимально развернутому цитированию дневниковых записей и его писем коллегам на темы исследования.

Установка на рефлексия и саморефлексию автоматически вносит фигуру автора, его «я» в текст отчета о результатах работы. Эта «личность» не вписывается в ортодоксальное понимание эпистемологии исследований, базирующихся на использовании жестких методов. Своего, личностного, советские социологи, как правило, избегали в доперестроечные годы. Ход своих рассуждений они обязаны были соотносить с общими положениями марксистской социологии, с партийными документами, с манифестировавшимися и латентными, но оттого не менее жесткими предписаниями о том, «что можно, а чего нельзя», с представлениями о том, что будет пропущено

цензурой, а что нет и т. д. В этих обстоятельствах в советских социологических текстах авторы вынуждены были сдерживать себя в рефлексии и воздерживаться от саморефлексии.

Но при использовании качественных методов (неформализованных и мягко формализованных схем сбора первичной информации) личностный фактор оказывается принципиально неустранимым. Можно сказать и больше: оригинальность и полезность исследования становятся тем ярче и весомее, чем мощнее творческий и гражданский потенциал исследователя.

Первые два указанных обстоятельства не оригинальны, они *генетически* присущи исследованиям мягкого типа. Третье обстоятельство (первичная форма самоотчета) — если не уникально, то весьма специфично и связано с тем, что Алексеев из-за существования в начале 1980-х годов идеологических и цензурных ограничений на распространение социологической информации в принципе не мог ориентироваться на публикацию получаемых результатов. Как следствие возник своего рода социологический самиздат: жизненный и научный отчет перед друзьями в виде писем; всего делалась одна машинописная закладка. В 1980–1981 годах было написано 18 больших писем, составивших сериал, названный им «Письма Любимым женщинам» [1, т. 1, с. 270]. Эта коллекция дала импульс новому хроникальному циклу «Выход из “мертвой зоны”» и последующим сериям отчетов.

«Письма Любимым женщинам» — это неформальные описания событий, происходивших в жизни рабочего-социолога, его наблюдений, его рефлексия и опыт саморефлексии. Среди его адресатов были опытейшие социологи и журналисты, которых Алексеев знал многие годы и которые понимали не только написанное, но и то, что он не мог написать, оберегая их и себя. Не случайно по завершении этого цикла он писал: «Мои письма — принадлежат вам. Но все же прошу вас: не выпускайте их за пределы круга ваших *личных* друзей» [1, т. 1, с. 271].

Ядром тетралогии является социологический анализ производственных процессов на уровне предприятия и обстоятельств жизни рабочего-социолога. Однако здесь автор следует идее Гёте о том, что хорошо увиденное частное может всегда считаться общим. Желание и способность видеть в частном отражение общего (не случайно он цитирует Николая Гумилева: «В каждой луже запах океана, / В каждом камне веянье пустынь») и гражданская позиция проявляются в *публицистическом звучании* некоторых текстов, содержащих широкие социологические выводы.

Это говорит о сохранившемся умении Алексеева, филолога по образованию и журналиста в его досоциологической деятельности, выразительно писать и напоминает об общности социальных проблем, рассматриваемых социологами, журналистами и литераторами. В России социальная беллетристика возникла в начале 1840-х годов, социологические подходы присутствуют в литературно-публицистическом творчестве А.И. Герцена, далее идут Г.И. Успенский, А.П. Чехов («Остров Сахалин»), В.И. Короленко... А в советское время, в годы отсутствия в стране социологии, социальное в работах литераторов иногда присутствовало *зримее*, нежели художественное. Приступая к эксперименту (1980 г.), Алексеев немного знал о феноменологической социологии (читал только изданные тогда «для служебного пользования» переводы Леонида Ионина [8], фактически ничего не слышал о «социологии действия» А. Турена и «драматургической социологии» И. Гофмана, не читал работ П. Сорокина, был мало знаком с достижениями русской социологической мысли второй половины XIX — начала XX вв. Но, как выпускник филологического факультета, он был хорошо знаком с русской и мировой социальной публицистикой, и раньше многих других осознал близость этого рода литературы с социологией. Как отмечает сам Алексеев, важным событием для его профессиональной биографии был выход в 1978 г. знаменитой новомировской статьи В. Шубкина «Пределы» [9].

В.А. Ядову принадлежит *ключевая* роль в судьбе проекта Алексеева. Им был поддержан замысел работы, в его секторе проходили первые обсуждения наблюдений социолога-работчего, он написал предисловие к первой версии рукописи этой книги. Давно все это было, двадцать лет назад; тогда завершался 40-летний период классической советской социологии и зарождалась постсоветская российская социология. В 1999 г. Ядов опубликовал это предисловие в качестве рецензии, в ней он признал Алексеева «основателем нового направления в отечественной социологии» [1, т. 4, с. 15], имея в виду «социологию наблюдающего участия».

В этом отзыве Ядовым сказано много лестного в адрес методологии и результатов исследования Алексеева, но он отмечает в некоторых авторских текстах и особенность, ему не импонирующую, — «своего рода амбициозную тональность». Правда, Ядов здесь же заметил, что это сочетается со способностью быть твердым в соблюдении моральных принципов. И назвал эту черту личности Алексеева — сахаровской.

Конечно, это дорогого стоит, когда на одной чаше неких мысленных весов для измерения уровня моральности лежит «амбициозная тональность» текста, а на другой — сравнение

с этическими императивами, отстаивавшимися А.Д. Сахаровым. Здесь можно было бы ничего не комментировать. Однако, солидаризируясь с Ядовым в оценках сделанного Алексеевым и считая справедливым заключение о «нравственной планке», поставленной последним для себя, хотел бы кратко высказаться по поводу ядовской ремарки об амбициозности.

В-первых, отмечу, что в СССР амбициозность как некая качественность была *отобрана от личности* и присвоена государством, поначалу замахивавшимся на мировую революцию, а потом на менее масштабные, но грандиозные планы, такие как высадка человека на Луну и поворот течения сибирских рек на юг. Но, живя в США уже почти полтора десятилетия и изучая биографии и наследие создателей американской рекламы и технологии опросов общественного мнения, я стал воспринимать амбициозность как нормальное и необходимое свойство творческой личности. Если, естественно, эта амбициозность базируется на значимых достижениях человека в том, чему он отдает всего себя.

Во-вторых, читая книгу и раздумывая о ходе проведенных Алексеевым познавательных операций, необходимо помнить, что природа «драматической социологии» включает элементы театральности, и потому социологу-испытателю приходилось в ряде случаев исполнять непростые сценические роли — «от Дон-Кихота до Швейка и от Воланда до князя Мышкина» [1, т. 1, с. 15]. Таким образом, обнаруживаемая Ядовым амбициозность некоторых текстов может быть следствием убедительности игры Алексеева-актера, вошедшего в роль написанной им пьесы, но не до конца вышедшего из «игры» при анализе и описании свершившегося драматургического действия.

В-третьих, Алексеев пишет, что в тетралогии около 500 «действующих лиц», но главным лицом является сам автор. И далее: «Отважусь утверждать, что такой относительный *эгоцентризм* здесь оправдан» [1, т. 3, с. 36]. С пониманием соглашусь с ним.

Кстати, я спросил Алексеева, как он относится к замечанию Ядова. Тот ответил: «Замечание совершенно справедливое в отношении “Писем Любимым женщинам”, которые еще тогда были обозваны мною “эпистолярным хулиганством”, а Светлана Минакова (мой давний соавтор и одна из адресатов писем), так даже написала остроумную пародию, начинавшуюся примерно так: “Я вошел в цех и взглянул окрест себя. В воздухе висело разгильдяйство...”» (см. приложение к письму под названием «Производственные драмы и “ужасное дитя” цеха № 3»). Особенно в первых письмах с шутливым “ячеством” был перебор» [10].

Но даже с учетом сделанных оговорок мне не кажется, что в текстах Алексеева проступает амбициозность, в них нечто иное. Вспоминается история, относящаяся к самому началу его работы на заводе. В кругу друзей он рассказывал о выпивке с несколькими рабочими; не помню, было это после завершения ленинского субботника, по случаю одного из революционных праздников или просто — по поводу полочки. Когда уже высокий градус доверия возник, один из рабочих спросил его: «Ты меня уважаешь?» Ответ Алексеева на этот непререкаемый в описываемой ситуации вопрос был абсолютно неожиданным: «Уважаю, но не больше, чем себя». Вот в моем понимании в общей конструкции книги, в отношении Алексеева к документам, к построению им схемы наблюдений производственной ситуации, в его восприятии и оценках поведения людей, наконец, в его авторской позиции проявляется ответственное и *уважительное* отношение к делу, к окружающим и к себе.

В интонации и духе книги проступает не только самоуважение, но и личностная и творческая *свобода*. Алексей не был ни диссидентом, ни человеком, находившимся во «внутренней эмиграции». Но переход из академической среды в пролетарскую позволил ему освободиться от многих идеологических требований в анализе социальной реальности, которыми обязан был постоянно руководствоваться штатный социолог и которыми в значительно меньшей степени был связан гегемон советского общества — рабочий, человек физического труда. Однако, на мой взгляд, не переход в среду рабочих был первопричиной обретения Алексеевым свободы и права на реализацию общественного «разномыслия». Этот переход оказался лишь *катализатором* внутренних мыслительных процессов, которые возникли и развивались в этом человеке долгие десятилетия. То был второй добровольный, если угодно идейный, поход (или уход) Алексеева в рабочие; первый состоялся в начале 1960-х, за два десятилетия до описанного в «Драматической социологии».

Базовый импульс такой жизненной траектории не мог возникнуть сам по себе, без «драматической» ситуации, некой коллизии; и в смысле *драматической* социологии, и в более широком плане — как глубокое рационально-чувственное потрясение. Возможно, будет оправданно говорить о «драме идей».

Алексеев прошел долгий и трудный путь к свободе и самоуважению. В 1997 г., вспоминая события полувековой давности, он говорил: «я далек от идиллических воспоминаний о своих молодых годах. Так сказать, не уважаю и не люблю себя, каким был тогда». Каким же он себя не уважал?

Алексеев родился в Ленинграде в 1934 году, в семье с передававшимися из поколения в поколение идеалами служения обществу, высоко ставящей ценности личности и с глубокими традициями честного отношения к своему делу [11]. Он стал комсомольцем в школе, еще в 8–9-м классе, и гордился тем, что сделал это рано. Ему казалось, что он был честнее других, так как вступал в комсомол и позднее в партию по убеждению, а не для улучшения своей анкеты. Выучив благодаря матери три иностранных языка к моменту окончания школы (случай для того времени редкий), он поступил на филологический факультет, чтобы изучать славянские языки. И там увлекся журналистикой, полагая, что таким образом он сможет влиять на общественное мнение, формировать его в нужном, как он считал, для общества направлении. Был отличником-активистом и сталинским стипендиатом. На пороге своего двадцатилетия, узнав о смерти Сталина, несколько суток не спал, демонстрируя самому себе, как надо «держаться в руках», когда страна осиротела. «Слез не было, но до рези в глазах читал ночью (вовсе не для экзамена!) какой-то классический труд по лингвистике» [9, т. 4, с. 89]. В 1950–1960-е годы, уже работая в ленинградской молодежной газете «Смена», он был «певцом» движения за коммунистическое отношение к труду и отчасти «изобретателем» бригад коммунистического труда. В заключительный том «Драматической социологии» [1, т. 4, с. 91–107] автор включил образцы своих журналистских текстов. Их содержание передают заголовки и ключевые фразы: «Будем учиться жить в коммунизме», «уголок коммунизма», «разведчики будущего», «мы стоим на пороге коммунистического общества». В 1961 г. Алексеев, будучи в Англии, на вопрос одного из профессоров о том, не является ли коммунистическая убежденность неким аналогом веры, искренне отвечал: «Коммунизм — это в моем сердце», а позже в своем дневнике записал: «Трудно понять наши идеалы, если не хочешь понять, если не веришь, что мы строим счастье для человечества».

Потом были XX съезд КПСС, который, говоря словами Алексеева, развенчал для него культ одного «бога» и возвысил культ другого, Ленина. Затем (ключевые события!) — советское вторжение в Чехословакию в 1968 г., приобщение к литературе, не подлежащей «ввозу и вывозу» из СССР, наконец, война в Афганистане. Вот запись из его дневника (от 5 января 1980 г.), комментирующая начало этой войны: «Усилия нашей пропаганды в этой ситуации могут направляться лишь к доказательству того, что **стоит!** А вот **можно** или **нельзя** — обсуждению не подлежит. <...> Но в одном

обыватель проявляет удивительную прозорливость: ввод советских войск в Афганистан так же невыгоден советскому правительству, как американскому была невыгодна война во Вьетнаме, а царскому — русско-японская война» [1, т. 1, с. 86].

Понятно, что автор этих строк в ту пору уже не питал каких-либо социальных иллюзий, но и не был лишен надежды, что отражено во фразе, вынесенной в заголовок статьи. Его друг и соавтор Роман Ленчовский, киевский философ и социолог, пишет на страницах книги (в «Драматической социологии» много текстов коллег и друзей «главного» автора) о том, как «старшие» и «младшие» шестидесятники, постоянно натываясь на «превращенные» (термин Маркса, активно использовавшийся М. Мамардашвили) и извращенные формы общественного устройства, напряженно искали способ осмысленного и достойного существования, пытались сопротивляться системной профанации своего утопического идеала. Соглашаясь с Ленчовским, Алексеев пишет: «По этой логике получается: говорили, что думали, и действовали, как говорили. Пусть обманывались, но не лицемерили. Выбирали доступные для себя способы сопротивления». И тут же самокритично добавляет: «Вывод, пожалуй, не только объяснительный, но и утешительный. Что ж, жили (чувствовали, мыслили и действовали) — “как умели”; объясняем — “как можем”» [1, т. 2, с. 231].

Перейдя в рабочие, Алексеев смог остаться и социологом, но это был уже иной, новый социолог. Освободившись от массы идеологических требований, налагавшихся на сотрудника социологического института, освоив ранее невозможное и малознакомое чувство свободы в размышлениях и действиях, он — вслед за своим другом-социологом Сергеем Розетом, несколько ранее его перешедшим из социологов в рабочие, — мог теперь сказать о себе: «Ныне я сознательно становлюсь “рабом” на фиксированное количество часов, а в остальное время я — свободен» [1, т. 1, с. 92]. Желание Алексеева продолжить анализ социальной реальности однозначно задавало предмет его познания — производственные отношения в первичном трудовом коллективе. Отчасти это было продолжением того, чем ему в последние годы работы в Академии наук приходилось заниматься. Однако потребность быть честным перед собою и впервые представившаяся для этого возможность требовали выработки нового способа исследований всего происходящего. Оказалось, что это невозможно сделать, не определив своей позиции, своего положения в пространстве изучаемых коллизий, конфликтов,

проблемных ситуаций. Мне думается, что отыскание этого «наблюдательного пункта» было не просто технологическим и организационным аспектом разворачивавшегося социологического исследования, но вопросом профессионально-этическим. Конечно, достижение научно-обоснованных результатов требовало решения ряда непростых инструментальных задач (все же цех — не исследовательская лаборатория, а координатно-револьверный пресс — не стол в кабинете ученого), но в еще большей степени это зависело от глубины познания себя и того, сколько, говоря словами А.П. Чехова, «капель раба» можно было выдавить из себя. Ведь было ясно, что в рождавшемся исследовательском проекте нельзя будет ограничиться ролью даже сколь угодно тщательно работающего стороннего наблюдателя и суперответственного летописца.

Не удивительно, что в поисках методологии задумывавшегося исследования Алексеев нашел «новых учителей жизни» [12]. Ими оказались не просто выдающиеся ученые XX столетия, но и апостолы высокой этики: Альберт Швейцер, Алексей Алексеевич Ухтомский и Александр Александрович Любищев.

То, что в работе Алексева может показаться амбициозностью, в действительности является уважением к своему делу, самоуважением и ощущением собственной свободы. Но свобода — всему начало.

В последовавшие после выхода «Драматической социологии» годы научный интерес Алексева сконцентрировался на анализе методологических проблем рефлексии и саморефлексии в социальном исследовании, на некоторых аспектах изучения биографий и использования в социологической работе методов анализа документов. По духу и жанру это было развитием начатого в четырехтомнике, но в предметном отношении все больше фокусировалось на процессах, протекающих внутри российского социологического сообщества. Хотя, как мне кажется, проблема роли, места, ответственности социолога в «обустройстве своего дома» в явном виде не заявлялась, она постепенно становилась одной из стержневых. В частности, этот вывод вытекает из рассмотрения серии его публикаций последних лет, размещенных на сайте российско-американского проекта «Международная биографическая инициатива» [13]. Своего рода программной можно назвать его небольшую заметку под названием «Что такое публичная социология?» [14]. В концептуальном плане это — развитие построений Майкла Буравого, но объектом авторского анализа и поводом для беспокойства является российская социология.

И все же, даже пытаюсь регулярно следить за исследованиями Алексеева, я был удивлен масштабом охвата темы и объемом (около 100 печатных листов) его новой книги, сделанной совместно с киевским философом и социологом Романом Ленчовским. Я благодарен авторам за предоставленную мне возможность знакомиться с рабочими вариантами текста, но, поскольку книга еще не вышла, не буду говорить о содержании рукописи, тем более что даже перечисление основных структурных элементов этого труда заняло бы немало места. Если в «Драматической социологии» анализируются, в частности, драмы, разворачивавшиеся внутри отдельного завода на закате застоя, то новая книга — в значительной своей части — о современных драмах, происходивших, да и продолжающихся, в российском социологическом сообществе. Принципиально то, что будущему читателю этой работы предъявляются не столько позиции авторов, сколько документы и мнения большого числа социологов, многие из которых известны всему профессиональному сообществу.

Название книги «Профессия — социолог», и прежде всего она обращена к социологам. Но в ней нет критериев, предписаний, которым должен следовать специалист, она предъявляет читателю ряд событий, процессов, обсуждавшихся социологами в последние два-три года, и предлагает ему задуматься о своем отношении к ним. Итогом такого анализа и станет личная интерпретация того, кем же является социолог как представитель определенной профессии. Она может совпадать полностью или частично с авторской трактовкой, а может коренным образом отличаться от нее. При этом факт отсутствия в книге намека на то, каким путем должен следовать читатель к своему выводу, автоматически запускает механизм многоуровневой рефлексии и саморефлексии. Книга — не для легкого чтения, она дает возможность самому сформулировать свое понимание «хорошего» и «плохого», «темного» и «светлого», «доброе» и «недоброе».

Название книги было предложено Ленчовским, и поскольку оно сразу показалось мне и публицистичным, и указывающим на актуальную для социологов научно-нравственную проблему, я заинтересовался историей его рождения. Ленчовский отметил, что в целом название было сразу принято Алексеевым и что во всех обсуждавшихся вариантах присутствовало сочетание «Профессия — социолог». Поначалу перебирались различные дополнения, точно наводящие на содержание работы. Хотелось показать то, что уже было отражено в тексте: его дисциплинарную «прописанность» — социология социологии, а также сквозную идею — социолог не просто «держит ответ»

перед вызовами мира социальных отношений, но действует в контексте «всего» своего профессионального пути.

Моя интерпретация названия «Профессия — социолог» была навеяна иными ассоциациями. Оно сразу напомнило мне давно виденный фильм Микеланджело Антониони «Профессия: репортер». И дело не только во внешнем сходстве этих двух словесных конструкторов, но и в том, как содержание этой ленты трактовалось некоторыми киноведами. По их мнению, Антониони хотел показать, что мир непознаваем для тех, кто лишь наблюдает, видимое не объясняет мир, нужно действие. Такая версия идеи фильма давала мне возможность лучше увидеть в новой книге развитие замысла «Драматической социологии».

Удивительно, что в действительности Ленчовский не видел фильма, а лишь слышал о нем, а Алексеев отчасти потому сходу согласился с предложением своего соавтора о названии книги, что оно оказалось «личностным римейком названия любимого фильма». В конце 1970-х эта лента произвела на него «оглушительное впечатление» не столько своей философией, сколько настроением, к тому же ему оказалась созвучной идея перемены судьбы.

В моей недолгой дискуссии с авторами книги Алексеев сформулировал и суть ее содержания: «Как бы там ни было, наша книга — про социологов и не только, и даже не столько про них, сколько про “человека в обществе” и про “общество в человеке”».

* * *

В 1960–1980-е годы социолог был тем человеком, которому власть доверяла рисовать картину радостного движения общества по предложенному ею пути. Если социологу никак не удавалось обнаружить ни этой радости, ни этого движения, «подправляли» его самого. Андрей Алексеев оказался тем социологом, который одним из первых обнаружил нежелание общества принять предлагавшийся властью путь и стремление людей к переменам. И его самого «подправить» не удалось.

Каждый, кто начнет восхождение на скалу Андрея Алексеева, через какое-то время иначе, более масштабно, увидит ландшафт советской/российской социологии. И дышать начнет по-новому. Глубже. Смелее. Свободнее.

Литература

1. Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия: В 4 т. СПб.: Норма, 2003–2005 <<http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=216>>.

2. *Фирсов Б.М.* Разномыслие в СССР: 1940–1960-е годы. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, Европейский дом, 2008.
3. *Соколов Э.В.* В миру и наедине с собой <http://zhurnal.lib.ru/s/sokolow_e_w/memory.shtml>.
4. Электронное письмо И. Кона А. Алексееву от 22 июля 2009 г.
5. *Кузнецов Б.Г.* Встречи. М.: Наука, 1984.
6. *Алексеев А.* Электронное письмо Б. Докторову от 11 августа 2008 г.
7. *Алексеев А.Н.* Познание через действие // *Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев.* 2006. № 5
8. <http://www.teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content1210866939113785file.pdf>.
9. Новые направления в социологической теории / Пер. с англ. Л.Г. Ионина; Общ. ред. Г.В. Осипова. М.: Прогресс, 1978.
10. *Шубкин В.Н.* Пределы // *Новый мир.* 1978. № 2.
11. *Алексеев А.* Электронное письмо Б. Докторову от 13 августа 2008.
12. *Алексеев А.Н.* Корни и ветви (XVIII–XXI век) <<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Memoirs/alekseev.html>>.
13. *Алексеев А.Н.* Учителя жизни: Триптих <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/biographies/alekseev_triptych.html>.
14. Международная биографическая инициатива <<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html>>.
15. *Алексеев А.Н.* Что такое публичная социология? <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/articles/alekseev_public.html>.